Литературная страница

На дорогах комбината.

Фотоэтюд Н. Нестеренко.

Рафаиль ИЛЬЯСОВ

За окном ночная темнота,
Тикает будильник предо мною,
А в груди сомнений суета
И опять не лажу сам с собою.
Но привык к бессонным я ночам,
И с собою спорить мне не ново.
Не дает ответов жизнь готовых
На вопросы и сомненья нам.

Никогда поэтому не стану
Жаловаться на свою судьбу,
Забинтую верой чистой рану —
След сомнений — и опять пойду.

Чтобы нужным стать земному
миру,

Чтобы правде нашей помогать
Голосом своей свободной лиры —
Драться ей давно не привыкать.

Легко в бездействии мечтать
И обо всем немножко знать.
И даже знать, что делать надо,
Чтоб человеком нужным стать.

Да, знать легко, трудней
решиться
В душе свершить переворот
И от безволья отрешиться
И выйти в мир за свой порог.

Александр ПАВЛОВ

А Й*

Жукатау, Жукатау —
«Тонкая гора»...
На реке твоей картавой
всплески серебра.
Ай, луна какая нынче —
ятаганный край!
Непривычно?
Непривычно!
Это злится Ай —
перекатная, сквозная,
стылая река,
мчится в скалах,
обдирая
синие бока.
Нас кидало и плескало
по протокам вдоль,
бились в тесаные скалы
веселость и боль.
Как награда человеку,
просветленье душ —
не ручей ворвался в реку,
а Большой Багруш.
Отпустило на свободу
и относит прочь...
Режут хариусы воду,
вспарывают ночь.
Достается нашим лодкам!
Тащит по годам —
по песчаным осередкам
да «бараньим лбам».
Что нам прошлые уроки!
Не пойти б ко дну...
Но несут, несут притоки
светлую волну.
Достается?
Достается!
Где пути конец?
Ждет на стрежне —
не дождется
камень-одинец.
Не морской, а пресный ветер,
маяков — не жди.
Лишь луна в ущелья светит,
зябнет впереди.
Только кланяться не стану,
не скажу: «Пора!..»
Жукатау, Жукатау —
«Тонкая гора».

* Ай (башкирск.) — луна Название реки.

ОПЯТЬ, опять под сердцем жжет,
а на душе светлеет что-то...
Где нас беда подстережет,
какие нам предъявит счеты?
Завалит в тишину, во мрак,
и, относя последним валом,
укроет с головой, вот так,
землею, словно покрывалом.
Да не осмелится никто
сказать, что сам накликал беды!..
Иной, мол, прожил от и до,
и не опаздывал к обеду.
А кто-то в меру ел да пил,
и даже волновался в меру,
не ненавидел, но любил,
и нужному внимал примеру.
Я виноват, пожалуй, в том,
что время разгонял до свиста,
что грязь носил, да в свой же дом,
из мест, где внешне было чисто.
Что делал все наоборот,
покуда сердце слез не выльет...
И ветер забивался в рот
и уши прошивал навылет.
Что счет делам своим не вел,
годов усердно не итожил,
тенет обидчикам не плел,
и все-таки скажу, что пожил.
Гуляли праздники и мы
по нашей улочке неровной
среди житейской кутерьмы
с глубокой горечью надбровной.
Да, мы из тех, кто рос и креп,
не смея почитать бедою
его степенство — черствый хлеб
с ее величеством — водою.
Нет, мы не спорили взахлеб,
купаясь в истинах проточных...
Как на металле, рос наклеп
на душах наших жаропрочных.
Наклеп от пули и меча,
наклеп от слова подкидного...
И ни тычком, и ни сплеча
наклепа не пробить такого.
Но почему под сердцем жжет,
и тлеет глупая забота:
где нас беда подстережет,
какие нам предъявит счеты?

ЯНЫНЧЕ густо памятью оброс,
увидел дом, просушенный
июлем,
где на кровати замшевый барбос
и пагода подушечек под тюлем.
Живет ли в нем, обиженно тиха,
та женщина, святая, как сказанье,
не знавшая ни счастья, ни греха,
проклявшая мое существованье?
Блюдет свой угол и себя...
К чему?
Кому нужна сегодня эта жертва?
Но окон позолоченные жерла
по вечерам нацелены во тьму.
Они глядят прямой наводкой в нас
и стерегут забытую дорогу...
И пелена закатная из глаз
сползает к оскорбленному порогу.
Проклясть большак,
покаяться, свернуть,
упасть в колени и заплакать
смертно!
Каким бы ни был заполошным
путь, —
не все еще обрушилось и смеркло.
Не все года я вычерпал до дна,
еще не все заплеваны колодцы...
Ведь есть же где-то женщина одна,
умеющая гладить и колоться!
Какой обидой ни ударь в лицо, —
она в ответ — ничем.
И слава богу!
Она потом выходит на крыльцо
и долго-долго смотрит на дорогу.
Чтоб далеко, за синью горных гряд,
наблудившего слишком неоплатно,
тебя настиг ее светлейший взгляд,
и не хлестнул,
и повернул обратно.

ЗА ТЕРЕХТОЙ, на Черных скалах,
обычай предков не храня,
меня башкирка приласкала,
совсем заблудшего меня.
Ну что еще она хотела?
Достала хлеб и молоко...
Уняв беспомощное тело,
она в глаза мои глядела
темно и влажно, и легко.
Ни перед кем не виновата,
по-азиатски расцвела.
В каком колене Салавата
ты дерзость эту обрела?
Никто нас нынче не осудит.
Вода и ветер — пополам!
Когда тоска нам жилы студит,
что люди нам, что время нам?
Себя стыдом напрасным доняв,
я зло таил на целый свет...
А ты в моих крутых ладонях
купаешь тюркский амулет.

Эвальд РИБ

БЕРЕЗЫ

Галя и тетя Зэйтунэ собирали клубнику в лесу. Девочка просила ее что-нибудь рассказать о лагере смерти.

— Сколько тебе лет? — спросила женщина.

— Девять, — ответила Галя.

— Страшные сказки читала?

— Читала.

— Пугалась?

— Немножко.

— Тогда крепись. Садись рядом.

Жили мы в бараках. Их было много. Целый поселок. В одних бараках жили мужчины, в других — женщины, а против нас — дети. Вокруг барачного поселка стоял большой забор из колючей проволоки. Он находился под током.

Однажды мы не выполнили задание. Это было зимой. Копали ямы. Земля была мерзлая. Работали 17 часов. Кое-как дошли до барака. На небе давно мигали озябшие звезды. Комендант нас выгнал на мороз. Приказал раздеться, облил нашу одежду холодной водой, потом заставил одеться. Часа через два мы превратились в полуживые сосульки. К нам подошел мальчик лет восьми. Худой. Одни кости, как у нас. Весь в лохмотьях. Крикнул во весь дух:

— Дяденька, не надо!.. Дяденька, не надо! Наши мамы замерзнут!

Тот достал пистолет и выстрелил в малыша, обвинив его в беготне. А нас заставил ходить вокруг убитого. Моя подруга упала возле кровяного огонька, вспыхнувшего на снегу, и больше не встала. Вскоре фашист начал пинками в спины загонять нас в барак.

— Дальше не рассказывайте! — всхлипнула Галя. — Разве так можно?

— Как-то рано утром, — улыбнулась рассказчица, — я увидела знакомую березку за окном. Подумала: она к нам прибежала с родных Уральских гор. От ее алой музыки мы повеселели, прибавились силы, начали обниматься те, которые еще кое-как двигались, а фашисты нервничали, метались, но не выдержали — пустились бежать, а за ними — наши солдаты.

— Они их догнали? — шепнула девочка.

— Так догнали, — привстала тетя Зэйтунэ, — что весь земной шар вздохнул.

Лунная музыка

Дети и взрослые возвращались к поезду «Здоровье» краснощекие, веселые. Они старательно очищали от снега лыжи, санки. Уральский вечер в горах начал прятать солнце. На лысой вершине, где стояла только одна береза, происходило что-то необыкновенное.

Семен Лукич смотрел из тамбура вагона и восхищался.

— Галя, ты видишь березу на горе? Сегодня мы к ней поднимались.

— Вижу.

— Она изменилась?

— Да, дедушка.

Береза, казалось, вся была заполнена солнцем. Искрилась. Переливалась.

— Присмотрись, — сказал дедушка. — Она в цветную музыку превратилась. Видишь, как она изменяется?

— Вижу, дедушка, вижу: сейчас она солнечная, — потом крикнула:

— Теперь алая... в голубых пятнах.

Когда поезд набрал скорость, дедушка спросил:

— Как ты думаешь, Галя, какая сейчас музыка на горе?

Она посмотрела в окно вагона и воскликнула:

— Лунная!

КОРОЛЕВСКАЯ ПРИМУЛА

Королевская примула — цветок, распускающийся только перед извержением вулкана.

Далеко-далеко,
у подножий вулканов немых,
в их крутых, каменистых,
нетронутых жерлах,
родниками провальными
скудную почву намыв,
угнездила природа
цветок на откосах замшелых.
Хрупкий стебель его
не взрывается цветом веками,
спит угрюмый вулкан,
не ворочая телом под ним,
и тяжелый покой,
что уполз под лавинные камни,
не питает его
сокрушительным соком своим.
Но из темных глубин
заклубится просторная сила
да под чуткие корни
рассерженно вытолкнет сок,
и, напившись его,
расцветает до жути красиво
королевская примула —
этот страшный помпейский цветок.
Вестник огненных бурь
и могучих земных потрясений,
он, как вызов, цветет,
и трепещут над ним облака
и качается мир,
и сгорает во мгле карусельной,
чтобы кануть в века
и явиться опять на века.
Это ль ново для нас?!
Были годы жестоки и дики,
без цветения примул
мы не горы — планету трясли.
Там, где мы полегли,
королевски взметнулись гвоздики
из горячего пепла
на вздувшихся жилах земли.
Наш коронный цветок
мы не соком питали, а кровью,
он встает на пути
не затем, чтобы нас повернуть, —
он в лавины зовет,
он ложится в твое изголовье,
если черная пуля
влетит в непокорную грудь.
По горюнной земле,
у подножий курганов немых,
в их кромешных,
на скорую руку отрытых могилах
уж не мы ли горим,
прорастаем цветами не мы,
и встаем во весь рост
на земных перерубленных жилах.
Королевская примула
вышла на теплый откос
и вот-вот расцветет,
напоив свои нервные корни...
Я цветенья дождусь
и сорву эту вестницу гроз, —
отражаясь в глазах,
пусть горит у меня на ладони!